



Леонид
ЛЕОНОВ:

«МОЯ ЖИЗНЬ В ЛИТЕ- РАТУРЕ— СЮЖЕТ- НАЯ НОВЕЛ- ЛА...»



Леонид Максимович ЛЕОНОВ. Фото А. КАРЗАНОВА

ПОДМОСКОВНЫЙ поселок Переделкино. Давно обжитый деревянный дом, утопающий в зелени сада, разбитого на склоне Сетуни. Все здесь посажено руками хозяина, выращено его трудами и заботами.

Сухощавый, не по возрасту стремительный в движениях, будто летящий, как в мыслях, так и в походке, одетый в синю ситцевую рубашку с расстегнутым воротом, сквозь вырез которого выпирают ключицы, и в темные брюки (весь день работал в саду), он не похож на свой же хрестоматийный облик: рассыпанные по лбу светлые волосы, ушедший в себя взгляд, осязистая посадка фигуры... Лишь руки, руки мастера, закрученные, с жесткой хваткой поработавшего человека, впечатываются сразу в память. «Перо наше», — говорит он, — нередко приобретало непосильную тяжесть для руки. И кистью, неожиданно артистично, скупым жестом, будто отсекает конец фразы.

Беседовать с Леонидом Леоновым можно долго, злоупотребляя его щедрым даром рассказчика, не переставая удивляться цепкой памяти, выхватывающей из далекого прошлого деталь, слово, а где и цвет, вкус, запах. Он сам быстро увлекается и тогда уже не делает скидок на возраст собеседника, его, мягко говоря, скромные знания, опыт и целеустремленный интерес.

Любит дело, суть. — Писать обо мне трудно, — говорит не спеша, чувствуется, что фраза обдуманна, взвешена. — Проза у меня не биографическая, но вся моя жизнь в литературе — это сюжетная новелла. — И, немного помолчав, добавляет: — Со своим началом и концом.

И действительно, в леоновских романах трудно найти привязку к тому или иному реальному месту, встретить в жизни реального прототипа, некоего двойника литературного героя, хотя... Хотя «для писателя, не по профессии, а по призванию, творчество является единственно достойной биографией». Заветная мысль Леонова, высказанная им не раз. Продолжая ее, можно попытаться, как советует сам писатель, составить его духовное жизнеописание, отраженное в достойных эпохи документах — в его книгах.

Он так и говорит: — В основе подвига писателя и художника лежит бескорыстная корысть. — И тут же поясняет: — Я выделяю мед. И другие выделяют мед. А получают соты. Все ими питаются.

Через некоторое время, уйдя в воспоминания, вроде бы не связанные с предыдущей темой, неожиданно возвращается и досказывает то, первое, истинно заканчивая мысль:

— Учтите, и анализ должен быть пчелиным.

Чувствуешь, что затаянная искренность и безжалостная прямота слов, уживающиеся в его рассказах, идут от вековой черты русских интеллигентов, когда все, что ни говорится ими, граничит с исповедальностью, а что ни делается, приобретает утверждающий себя бескорыстный смысл.

Вот почему Леонова всегда привлекали деятельные, высококультурные личности. Собственно, вся его проза, все его книги выписывали не какого-то ловца счастья и чинов, а трудового заступника, истинного носителя отечественной культуры, начиная с писателя Фирсова, романного соглядателя трагических метаний Митки Векшина, и кончая Иваном Вихровым. Здесь была необходима какая-то сквозная идея, условный леоновский

символ... И писатель его находил.

В беседе с известным польским литературоведом и переводчиком Ежи Енджиевичем он сказал, что в основе его творчества заключен поиск некоей «блестинки» в глазах человека, «блестинки», выросшей из всего опыта человечества. Собеседник добавляет: «Я хорошо понимал, что «блестинка» — это излюбленная концепция Леонова, это символ всего, что мы называем культурой, интеллигенцией, знаниями и моралью. Эта «блестинка» светит в глазах человека. Но не всегда».

Утверждая себя в «Воре» (во второй редакции), где философски раскрыта необходимость овладения новым человеком культурой прошлого, проходя через «Скутаревского», выплескиваясь в сложной архитектонике «Русского леса», она, эта «блестинка» культурного наследия, сверкает праведным огнем в леоновской публицистике.

Тем злободневнее в наше время читаются размышления писателя, его книги, когда все чаще современная проза обращается к образу интеллигента, ставя его в драматические ситуации нравственно-морального выбора, испытывая на прочность его духовную стойкость, бескомпромиссность суждений. И думается, не случайно, что такая литература, уже определяющая черты 80-х годов, создается большими художниками, талантами и своей судьбой доказавшими те истины, которые проповедуются ими.

Если первое поколение народных интеллигентов (к их числу можно отнести и Леонова) утверждало и вырабатывало духовные принципы и, назовем так, уставы пореволюционной культуры (как здесь не вспомнить слова Федора Скутаревского: «Сегодня он (то есть художник. — В. А.) стоит перед взорванными и разрытыми карьерами, которые еще дымятся. Его сырье сегодня — первородная руда; надо долго сушить ее, сортировать, сплавлять, чтобы сделать ее послушной руке ваятеля»), то второе поколение, зрело вошедшее в жизнь после войны, стоит перед задачей расширения воспринятых традиций благодаря научному, техническому и культурному росту уже не в прослойке общества, а в массах.

Все это не значит, что леоновские принципы строительства культуры можно лишь исследовать как архивный материал. Они зарождались в самой жизни, вышли из нее. И здесь примечательно само вхождение молодого писателя в отечественную литературу.

Кто его на первых порах поддерживал? Кто помог ему словом и делом в 1922 году, когда он скитался по углам, имея с собой лишь заветный сундучок с рукописями? «Большие старики той поры», по словам Леонида Максимовича, блестящая и не всегда, к сожалению, памятная нам плеяда отечественных интеллигентов — Илья Остроухов, Вадим Фалилеев, Михаил Сабашников, Дмитрий Кардовский, «дарившие меня своей щедрой дружбой».

А добавив к тому же следующие отзывы Максима Горького, Ильи Репина¹ и Константина Станиславского, нам будет понятна та бескорыстная корысть, которая двигала теми, кто в скромном секретаре редакций газеты «Красный воин» Московского военного округа, писавшем ночами в закутке у слесаря Александра Васильевича Васильева на Большой Якиманке за «столом» — положенным на колени листе фанеры — свои первые рассказы, увидел и поддержал «замечательного и весьма по-русски талантливого» молодого писателя.

Леонов отдал им в то голодное время чем мог, все его

первые вещи вышли с посвящениями: «Буряга» — Вадиму Дмитриевичу Фалилееву, блестящему русскому графику, тонкому ценителю природы; «Гибель Егорюшки» — Михаилу Васильевичу Сабашникову, издателю с мировой известностью, чей вклад в развитие отечественной культуры еще недооценен; «Петушкинский пролом» — Илье Сергеевичу Остроухову, классика пейзажа, попечителю Третьяковской галереи, хозяину знаменитой коллекции живописи и иконописи, «остроуховки»; «Возвращение Копылева» — Дмитрию Николаевичу Кардовскому, известному иллюстратору начала века, мастеру книжной графики.

Рассказывая о том времени, Леонид Максимович всякий раз как бы заново открывает их природную доброту и отзывчивость, стремление помочь младшему (к примеру, Остроухову в год знакомства с молодым писателем шел 63-й год), ненавязчиво наставить на путь истинный.

— Фалилеев делал графические заставки для «Красного воина», и я к нему иногда заходил, чтобы взять работы. Однажды он меня спрашивает: «Что вы такой грустный?». «Да вот, — отвечаю, — жить негде». «Хотите у нас поселиться?». Так я оказался в его мастерской, где он отгородил огромным холстом небольшой угол и смастерил мне деревянный топчан. Там я и написал «Петушкинский пролом», «Конец мелкого человека» и другие вещи.

Как-то раз, — продолжает Леонов, — Фалилеев спрашивает: «Что вы там все пишете? Почитали бы». Я тогда писал рассказы о чертах, — Леонид Максимович усмехается. — Черты — крайне гибкий для любого психологического опыта литературы материал.

На чтение собралось человек двадцать. Когда кончил, довольно благоприятно отозвались. Минут через десять подошел и Сабашников: «Мы бы выпустили книгу...».

В Сабашниковском издательстве одна за другой и появились первые леоновские книги, куда вошли рассказы и повесть «Конец мелкого человека».

Не меньшее значение для творчества Леонова сыграли его знакомство и дружба с «незабываемым Остроуховым». Кстати, здесь необходимо заметить, что все художники, окружившие вниманием молодого автора, известны как великодушные певцы русской природы. Не отсюда ли — и под влиянием, конечно, собственных впечатлений от поездок на Север и в родное гнездо деревню Полухино Тарусского уезда Калужской губернии, и под воздействием прекрасной живописи, в которой всегда был безразличен писатель — родился знаменитый леоновский пейзаж, напоминающий в романе «Соты» эпический размах «Сиверки» Остроухова, а в «Русском лес» — тонкие по своему лиризму цветные линогравюры Фалилеева?

Одно несомненно — старшие друзья и наставники молодого писателя в немалой степени способствовали формированию его эстетической системы, помогли пройти «начальную лабораторию слова, затянувшуюся не менее чем на год пробу пера».

Убеждает в этом и то, что, когда в 1925 году 26-летний писатель получил письмо от Горького, обратившего внимание на «Записи Ковякина», он уже вполне сложился как художник, имея целостную эстетическую программу и идущее от этой основы свое понимание литературы.

— Горькому я написал тогда, — продолжает рассказ Леонид Максимович, — что начало его «Детства» (Леонов легко цитирует по памяти: «В полуметном тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены...») и вот — самое

¹ Леонов рассказывает, что «читал меня Остроухов так: где стоит точка с запятой, надо бы поставить точку и тире». А среди отзывов на роман «Вор» писатель особо ценит письма Горького и похвалы Остроухова, «которые, впрочем, не вскружили мне голову» (Леонов трижды переделывал роман и сейчас готовит новую редакцию).

главное: «Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачесывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок черной гребенкой, которой я любил перепиливать корки арбузов...» — это начало и есть манифест новой реалистической школы.

Неожиданно Леонов уходит в себя, извиняется и что-то записывает на подвернувшемся клочке бумаги своим быстрым почерком, похожим на кардиограмму.

Удивительна эта ежеминутная работа мысли! Позднее он скажет:

— В основе творчества лежит маниакальное заболевание. Вскликаешь за ночь пять-шесть раз, чтобы поправить. Болел... Да и сам художник растет, пока он думает о себе, что плохо сработал. Когда же он начинает думать наоборот, — рука взлетает вверх, — то все!

Всю свою жизнь Леонов работорговал «по вине нашего нелюбопытства» за людей талантливых, обобщенных молчалием. Он первым откликнулся на выход книги подзабытого к пятидесяти годам художника северного слова Бориса Шергина. С любовью писал в «Правде» о судьбе замечательного пейзажиста и реставратора В. О. Кирюкова. Поддержал талант своего старшего товарища, художника Н. В. Кузьмина...

Нет у этого духовного подвига конца!..

— А вы знаете, — улыбается писатель, — я вам о своем начале или, как будет угодно, о своих учителях рассказывал не все. Занятая с одним из них, моим первым наставником, связана история, — и он легко откидывается в кресле.

— Так вот. В Петровско-Мясницком училище, где я учился, это в Зарядье, в Кривом переулке, работал хороший человек Митрофан Платонович Кульков, преподававший нам немецкий язык. С отеческой лаской относился он к восьмилетнему, довольно шумному, утомительному и чрезмерно изобретательному мальчугану. Здесь же преподавала и его жена Любовь Александровна, русский язык вела. До сих пор помню ее сияющие глаза. Тогда я уже выступал на школьных вечерах. И вот спустя годы, когда я получил перевод «Барсуков» на немецкий язык, решил навестить в Зарядье, чтобы подарить эту книгу Кулькову. Пришел, поднялся на четвертый-пятый этаж, вижу, в одном из классов мел с доски вытирает наш учитель, бывший солдат Максим. Узнал его сразу, да и он, меня увидев, спрашивает: «Агарков где?» С этим Агарковым я сидел за одной партой. Вот память! Ведь сколько учеников прошло за пятнадцать лет! Максим рассказал мне, что Кульков умер от голода в 20-м году, недолго пережила его и жена. Вышел я из училища. Осень стояла. Воротник пальто у меня поднял. И такая взяла тоска, боль, что не выдержал и заплакал.

Это не все. В 1943 году у меня вышла повесть «Взятие Велюшумска». Одному из героев, «бездарному сыночку народных знаний», я специально дал полное имя своего учителя. Пусть, мол, хоть в комментариях, если будут изучать, останется память. Через три года получаю письмо: «Товарищ Леонов, неужели вы тот самый, о котором нам не раз рассказывал отец?» Письмо от дочери Кулькова. Я и дочку помню, молоденькую учительницу в нашем же училище. Я ей тогда ответил, пригласил в гости. Открываю дверь — стоит старушка, вся в черном, как монашка. Пришла с братом. Мы сидели-толковали, но разговора не получилось. Общих воспоминаний не было. — Леонов, задумавшись, смотрит в окно.

— Неужели он запомнил меня тогда?.. Ведь если рассказывал, то помнил?..

А за окном ослепительно проглядывает вечернее солнце и заполняет теплыми отблесками рабочий кабинет писателя.

Вадим ДЕМЕНТЬЕВ